

ЮРИЙ ОЛЕША

ЗАВИСТЬ
(СБОРНИК)

Юрий Карлович Олеша

Зависть (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163677

Зависть: Роман. Рассказы. Статьи: Эксмо; М.: 2008

ISBN 978-5-699-16254-3

Аннотация

Юрия Карловича Олешу (1899–1960) в кругу писателей-современников называли «королем метафор». Олеша не умел писать «темно и вяло», длинно и скучно, его проза искрится блестящими образами и афоризмами, чуть ли не каждый абзац по емкости и законченности равноценен новелле. Роман «Зависть» (1927) – вершина творчества Олеша и, несомненно, одна из вершин русской литературы XX века. В сборник вошли также рассказы Юрия Олеша и книга «Ни дня без строчки» – дневниковые записи, являющиеся, по сути, тонкой и глубокой эссеистикой изощренного стилиста и чуткого человека.

Содержание

Зависть	4
I	4
II	10
III	14
IV	18
V	22
VI	27
VII	35
VIII	40
IX	48
X	53
XI	57
XII	67
XIII	72
XIV	78
XV	82
I	87
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Юрий Карлович Олеша

Зависть (сборник)

Зависть

I

Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлексивно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:

«Как мне приятно жить... та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг... ра-та-та-та-ра-ри... Правильно движутся во мне соки... ра-та-та-ду-та-та... Сокращайся, кишка, сокращайся... трам-ба-ба-бум!»

Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я прикидываюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, и локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачива-

ет выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора.

В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.

Это образцовая мужская особь.

Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посередине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.

Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, фыркает, выпускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на со-

ломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.

Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.

(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь – монета или запонка – падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)

Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посередине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)

Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие – под

самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка.

Он взял флакон; щебетнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы – от лба к затылку и обратно.

Утром он пьет два стакана холодного молока: достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь.

Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнувший одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпяченные. Он, оказалось, щеголь.

Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осовелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же: «Кракатоу... Крра... ка... тоууу...»

Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке! Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотой. Она напоминает фламинго. Квартира на третьем этаже. Балкон висит в легком пространстве. Широкая загородная улица похожа на шоссе. Напротив внизу – сад: тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревьястый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи.

Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпро-

тов, скумбрию в консервах, большой батон, голландского сыру доброе полулуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад «Персидский горошек». Была заказана яичница и чай (кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь).

– Лопайте, Кавалеров, – пригласил он меня и сам навалился. Яичницу он ел со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши.

Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, – нож блещет, как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают – класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш.

Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил.

Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой: – Андрей Бабичев – один из замечательных людей государства.

Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар.

А я, Николай Кавалеров, при нем шут.

II

Он заведует всем, что касается жранья.

Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил «Четвертак».

Растет его детище. «Четвертак» – будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак.

Объявлена война кухням.

Тысячу кухонь можно считать покоренными.

Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, крапы... Если хотите, это будет индустриализация кухонь.

Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы.

Я узнал о нем такое:

Он, директор треста, однажды утром, имея под мышкой портфель, – гражданин очень солидного, явно государственного облика, – взошел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун-аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном, заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бе-

шенные фурии носились в дыму, плакали дети. На него сразу набросились. Он мешал всем – громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем, в пенсне, элегантный и чистый. И решили фурии: это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него (кричали ему вслед) потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так:

«Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши – от галдежа, мы заставим картошку волшебю, в одно мгновение, сбрасывать с себя шкуру; мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, – половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоуханье от супа, что станет заочно цветам на столах».

Он, как факир, пребывает в десяти местах одновременно. В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям, – боится, что не поймут и напутают. Вот образцы его записок:

«Товарищу Прокудину!

Обертки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю (шоколад, начинка), но по-новому. Но не „Роза Люксембург“ (узнал, что такое имеется, – пастила!!), – лучше всего что-нибудь от науки (поэтическое – география? астрономия?), с названием серьезным и по звуку заманчивым: „Эскимо“? „Телескоп“? Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя, мне в правление. Обязательно».

«Товарищу Фоминскому!

Прикажете, чтоб в каждую тарелку первого (*и 50–и 75-копеечного обеда*) клали кусок мяса (*аккуратно отрезанный, как у частника*). Настойчиво следите за этим. Правда ли, что: 1) пивную закуску подают без подносов? 2) горох мелкий и плохо вымоченный?»

Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница.

В десять часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь человек. Он принял: 1) заведующего коптильней, 2) уполномоченного дальневосточного консервного треста (схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать; вернувшись, поставил ее рядом, возле локтя, и долго не мог успокоиться, все время поглядывал на голубую жестянку, смеялся, почесывал нос), 3) инженера с постройки склада, 4) немца – относительно грузовых автомобилей (говорили по-немецки; он окончил разго-

вор, должно быть, пословицей, потому что вышло в рифму и оба рассмеялись), 5) художника, принесшего проект рекламного плаката (не понравилось; сказал, что должен быть глухой синий цвет – химический, а не романтический), 6) какого-то контрагента-ресторатора, с запонками в виде молочно-белых бубенчиков, 7) жиденького человека с витой бородой, который говорил о головах скота, и, наконец, 8) некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет – этакий пленительно-неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, этакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами. Шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение.

В четыре двадцать он уехал на заседание в Высший совет народного хозяйства.

III

Вечером, дома, он сидит, осененный пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и – животом на столе, подперши толстое лицо руками, – читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов что же особенного? Человек работает, человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного. Но все его поведение говорит: ты – обыватель, Кавалеров. Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним.

– Четвертак! Четвертак-с! – кричит он. – Четвертэк-с!

Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительное прочел в бумагах или увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, давась от хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не мог различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что раздражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот

жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты.

«Ты – обыватель, Кавалеров. Ты ничего не понимаешь».

Он этого не говорит, но это понятно без слов.

Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение:

– Это Кавалеров? Слушайте, Кавалеров! Мне будут звонить из Хлебопродукта. Пусть позвонят два семьдесят три ноль пять, добавочный шестьдесят два, запишите. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Действительно, ему звонят из Хлебопродукта.

Я переспрашиваю:

– Хлебопродукт? Товарищ Бабичев в Главконцесском... Что? В Главконцесском, два семьдесят три ноль пять. Добавочный шестьдесят два. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Хлебопродукт вызывает директора треста Бабичева. Бабичев в Главконцесском. Какое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе Хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна. Холуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это.

Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз слу-

чилося увидеть его во время утреннего туалета, я был уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость.

Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и, ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку, – ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей.

«Вы – барин, Андрей Петрович! Вы притворяетесь!» – едва не сорвалось с моих уст.

Но он повернулся грудью.

На груди у него, под правой ключицей, был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли.

– Кто такая Иокаста? – спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают (особенно по вечерам)

необычайные по неожиданности вопросы. Весь день он занят. Но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров. В него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным. Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак.

– Вы любите маслины? – спрашивает он.

«Да, я знаю, кто такая Иокаста! Да, я люблю маслины, но я не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее вас». Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня.

IV

Я живу под его кровом две недели. Две недели тому назад он подобрал меня, пьяного, ночью у порога пивной...

Из пивной меня выкинули.

Ссора в пивной завязалась исподволь; сперва ничто и не предвещало скандала – напротив, могла завязаться между двумя столиками дружба; пьяные общительны; та большая компания, где сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа, в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила шуточку по моему адресу – и я оскорбился и с полдороги вернулся к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь.

Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле мог показаться смешным; этакий вихрастый фрукт. Мужчина вдогонку гоготал басом. Швырнули горошиной. Я обошел свой столик и стал лицом к ним, – пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки, – хмельной, я разразился признаниями: самоуничижение и заносчивость слились в одном горьком потоке:

– Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов, похитившая девушку... – Окружающие прислушались: вихрастый фрукт выражался странно, речь его вышла из общего

гомона. – Вы, сидящие справа под пальмочкой, – урод номер первый. Встаньте и покажитесь всем... Обратите внимание, товарищи, почтеннейшая публика... Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты морщинами, – и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш – вол, нос – возница, большой проказой, а остальное – поклажа на возу... Садитесь. Дальше: чудовище номер второй... Человек со щеками, похожими на колени... Очень красиво! Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... А вы? Как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украденной девушке, спросите ее, что думает она о ваших угрях? Товарищи... – я повернулся во все стороны – они... вот эти... они смеялись надо мною! Вон тот смеялся... Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, какие издает пустой клистир... Девушка... «в садах, украшенных весною, царица, равной розы нет, чтобы идти на вас войною, на ваши восемнадцать лет!..» Девушка! Кричите! Зовите на помощь! Мы спасем вас. Что случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь? Вам приятно? – Я сделал паузу и затем торжественно сказал: – Я зову вас. Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнакомая девушка, и прошу: не теряйте меня. Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего же вы ждете от него, от них всех?.. Чего?.. Нежности? ума? ласк? преданности? Идите ко мне. Мне смешно даже равняться с ними. Вы получите от

меня неизмеримо больше...

Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь: это сон – и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было: пробуждения не последует. Бешено наматывался клубок неправимости.

Меня выбросили.

Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:

– Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)

Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу преследования – я убегал, спасался, – все силы мои напряглись, и сон прервался.

Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видения к другому, и в новом видении главную роль играл избавитель – тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне, – кого обнял я за шею, горько рыдая.

– Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! – лепетал я.

– Положите его головой повыше, – сказал спаситель.

Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо; оно несло от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руку к ногам. Еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете «Скорой помощи», что пьяному мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона.

Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.

– Жалкий был вид у вас, – сказал он, – очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол, человек в чужую жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И есть для вас работа: вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?

Какие причины заставили знаменитую личность снизить настолько к неизвестному, подозрительного вида, молодому человеку?

V

В один вечер открылись две тайны.

– Андрей Петрович, – спросил я, – кто это, в рамке?

На столе у него стоит фотография чернявого юноши.

– Что-с? – он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу. – Что-с? – И он отсутствует еще.

– Кто этот молодой человек?

– А... Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. (Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу, или куплет, или просто мычание. Вот – вместо того чтобы ответить обыкновенной модуляцией: «замечательный молодой человек», он скандирует, почти речитативом произносит: «челоо-ве-эк!»)

– Чем же он замечателен? – спрашиваю я, мстя озлобленностью тона.

Но он никакой озлобленности не замечает.

– Да нет. Просто молодой человек. Студент. Вы спите на его диване, – сказал он. – Дело в том, что это как бы сын мой. Десять лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал. К отцу. В Муром.

– Ах, вот как...

– Вот-с.

Он встал из-за стола, прошелся.

– Ему восемнадцать лет. Он известный футболист. («А, футболист», – подумал я.)

– Что ж, – сказал я, – это и вправду замечательно! Быть известным футболистом – это и вправду большое качество. («Что я говорю?»)

Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове.

– Это совершенно ни на кого не похожий юноша, – вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. (Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным.) Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно, часто он вспоминает подвиг.) Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. (И он вернулся к столу.)

– Зачем вы выбрали меня и привезли?

– Что-с? А? – Он мычит, через секунду только он услышит мой вопрос. – Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль.

– А диван?

– Что диван?

– А когда вернется ваш юноша...

Он, нисколько не задумываясь, просто и весело отвечал:

– Тогда вам придется диван освободить...

Мне надо встать и набить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он, прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно. Пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам. А потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом.

– Андрей Петрович, – говорю я. – Вы понимаете, что вы сказали? Вы хам!

– Что-с? А? – Мысли его отрываются от бумаги. Сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом.

Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома.

На улице, под балконом, кто-то кричит:

– Андрей!

Он поворачивает голову.

– Андрей!

Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью.

– Андрюша! Дорогой!

Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широкоплечий человек.

– Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвер-

так»? (Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.)

Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише:

– Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия».

Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол. Барабанит пальцами по пластине.

– Берегись, Андрей! – слышен крик. – Не заносись! Я погублю тебя, Андрей...

Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город.

– Против кого ты воюешь, негодяй? – говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком. – Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда. Я велю тебя арестовать!

– До свидания, – раздается внизу.

Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок?), вежливость его аффектирована. Андрея на балконе уже нет; человечек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы.

– Вот! – кричит на меня Бабичев. – Вот, полюбуйтесь. Бра-

тец мой Иван. Какая сволочь!

Он ходит, кипя, по комнате. И вновь кричит на меня:

– Кто он – Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!

(Чернявый юноша на портрете улыбается. У него плебейское лицо. Он показывает особенно, по-мужски, блестящие зубы. Целую сверкающую клетку зубов выставляет он – как японец.)

VI

Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку.

– Моя молодость совпала с молодостью века, – говорю я. Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне.

– Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба – правда? – если так совпадает: молодость века и молодость человека.

Слух его реагирует на рифму. Рифма – это смешно для серьезного человека.

– Века – человека! – повторяет он. (А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова, – он не поверит.)

– В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы... У нас нет пути для индивидуального достижения успеха. Правда ведь?

Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова, – ну и звучи. И звучание мое ему не мешает.

– В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами... Одаренный человек либо должен потускнеть, либо ре-

шиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то что твоя, – самая замечательная личность – ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю, даже так: ну, вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату... Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя... А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям, – вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Да, вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел.

Он ничего не слышит.

– Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать,

что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас под подъездом.

– Повесьтесь лучше под подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.

В той комнате, где жил я до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее, как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове, на Благовещенском базаре, в голодный год. Баба торговала пирогами. Они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не испустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились, как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в тот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время шло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя.

Теперь я сплю на отличном диване.

Умышленным шевелением я вызываю звон его новых, тугих, девственных пружин. Получаются отдельные, из глубины бегущие, капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство.

Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловление от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями и, еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания, – уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плоть, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанные виноградные гроздья; путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной...

Мне двадцать семь лет.

Меняя как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом. В действительности такого сходства нет. Я вспомнил: родительская спальня, и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым, он уже готов, закончен, уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это было сходство форм, – нет, нечто другое: я бы сказал – половое сходство: как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции. И как бы кто-то сказал мне: ты готов. Закончен. Ничего больше не будет. Рожай сына.

Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду

из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артистов парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине – плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми пленками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце – маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.

Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.

Вдова Прокопович – символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкору-

кая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерею выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалую. А?

Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.

Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!

Я засыпаю на бабичевском диване. Мне снится, что престная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем, чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше, – что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит:

– О, не беспокойся. Всего четвертак.

Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках.

– Это французский президент Карно, раненный анархистом, – объяснил мне отец.

Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачаро-

ванный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.

Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:

В учреждение шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан...

А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:

НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ

И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненави-

дел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал – и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление...»

VII

С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.

Маленький человечек в котелке шел впереди меня.

Сначала я подумал: он спешит, – но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще.

Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.

Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.

Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машину для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался.

«Правда, похоже?» – едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову.

Котелок.

Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке – подушка.

Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом.

Я наблюдаю из-за выступа.

Он позвал вазочку:

– Валя!

Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.

– Валя, – сказал он, – я за тобой пришел.

Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз.

– Смотри, я принес... Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. (Он засмеялся.) Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу «Офелию». Не хочешь?

Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились.

По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути.

– Я прошу тебя, Валя, вернись! Просто: сбеги по лестнице.

Он подождал.

Остановились зеваки.

– Не хочешь? Ну, до свидания.

Он повернулся, поправил котелок и пошел серединой переулка в мою сторону.

– Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!

Он ускорил шаги, побежал. Мимо меня. Я увидел: он не молод. Он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек бежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного.

Окно опустело.

Она бросилась в погоню. Она добежала до угла, – там кончалось безлюдье переулка; она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, текла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав:

– Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.

Вечером я корректирую:

«...Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы – на изготовление съедобных жиров: сала,

маргарина, искусственного масла, — и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический ко-
стояной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий...»

Он говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:

— Это не жестокость.

Я прислушиваюсь.

— Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, нет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? — Унижается? Что? Ходит под окнами? — Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю. — Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала. — Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову. Офелия? Какая? А... Плюнь. Офелия — это бред. — Как хочешь. Но я говорю: ты поступаешь правильно. — Да, да. — Что? Подушка? Неужели? (Хохот.) Воображаю. Как? Как? На которой ты спала? Подумаешь. — Что? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения. — Что? — Да-да! (Тут он замолчал и долго слушал. Я сидел на угольях. Он разразился хохотом.)

Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев?
Что? Это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании.

VIII

Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый, ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.

Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.

– Здорово? – вопрошал он, обращаясь ко всем сразу. – Нет, вы посмотрите... Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните...

Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.

– Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесите, – пусть он посмотрит и звонит мне.

Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.

– Да, да, – ревел он, – да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины. Большая победа... Нет, не полтинник, чудак вы... Полтинник! Хо-хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица?

Он уехал.

Смеющееся лицо – румяный горшок – качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. «Колбаса! – звучит во многих кабинетах. – Именно та... я же говорил вам... Анекдот!...» Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:

– Несут ее вам! Соломон, вы увидите! Лопнете...

– Еще не принесли? Хо-хо, Соломон...

Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.

Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, и все расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как

все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.

Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала: обладатель руки прислушивался к ощущениям.

– Ах, – вздохнул он, проглотив. – Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса – вы знаете, это даже невероятно.

Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.

– Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.

Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубку, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать.

– Что мне делать? – спросил я. – Колбаса останется у вас?

– Он просит принести ее домой к нему, на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее.

Я не вытерпел:

– Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?

– Купить такой колбасы нельзя, – молвил Шапиро. – Она еще не поступила в продажу. Это проба с фабрики.

– Она протухнет.

Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку ища карман, произносил медлительно, чуть улыбаясь и опустив веки, – как старые евреи, – поучал:

– Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день. Иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце, – она будет пахнуть, как роза.

Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масляной, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет.

С первых дней моего знакомства с Бабичевым уже слышал я разговоры о знаменитой колбасе. Где-то шли опыты по изготовлению какого-то особенного сорта – питательного, чистого и дешевого. Постоянно Бабичев справлялся в разных местах; переходя на заботливые нотки, расспрашивал и давал советы; то томный, то сладко-взволнованный, отходил от телефона. Наконец порода была выведена. Из таинственных

инкубаторов вылезла, покачиваясь грузным качанием хобота, толстая, плотно набитая кишка.

Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она на гостей. В счастливой растерянности он оглядел всех и тотчас же положил кусок и отстранил его с таким выражением приподнятых ладоней, точно хотел сказать: «Нет, нет. Не надо. Я сразу отказываюсь. Чтобы потом не терзаться. Не может быть, чтобы такие удачи случались в простой человеческой жизни. Тут подвох судьбы. Заберите. Я недостоин».

Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении. Я стою на мосту.

Дворец труда по левую руку, сзади – Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. С высоты то, что я вижу вместо катера, похоже по форме на гигантскую, разрезанную впродоль миндалину. Миндалина скрывается под мостом. Тогда только я вспоминаю трубу катера и то, что поблизости трубы какие-то двое ели из котелка борщ. Белый клуб дыма, прозрачный и исчезающий, летит по направлению ко мне. Долететь не успевает, переходит в другие измерения и достигает меня только последним своим следом, свивающимся в еле видный, астральный обруч.

Я хотел бросить колбасу в реку.

Замечательный человек, Андрей Бабичев, член общества

политкаторжан, правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта... Неужели это праздник? Неужели это слава?

Он сиял сегодня. Да, печать славы лежала на нем. Почему же я не чувствую влюбленности, ликования, поклонения при виде этой славы? Меня разбирает злоба. Он – правитель, коммунист, он строит новый мир. А слава в этом новом мире вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышел новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы, что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история... Значит, природа славы изменилась? Везде или только здесь, в строящемся мире? Но я ведь чувствую, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий... Я не слепец, у меня голова на плечах. Меня не надо учить, объяснять мне... Я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы! Я хочу сиять так, как сиял сегодня Бабичев. Но новый сорт колбасы меня не заставит сиять.

Я мотаюсь по улицам со свертком. Кусок паршивой колбасы управляет моими движениями, моей волей. Я не хочу!

Несколько раз я готов был швырнуть сверток через перила. Но стоило мне представить себе, как, освобождаясь на лету от обертки, падает и с эффектностью торпеды исчезает в волнах злосчастный кусок колбасы, – как мгновенно другое представление бросало меня в дрожь. Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не

смотрит на меня – и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону, взгляда его нет: только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему неинтересно смотреть на меня, нет времени, нет охоты, но я понимаю, что он видит меня насквозь.

Вечером пришел Соломон Шапиро, пришли еще два, и Бабичев устроил угощение. Старый еврей принес бутылку водки, и они пили, закусывая знаменитой колбасой. Я отказался от участия в трапезе. С балкона я наблюдал их.

Живопись увековечила многие пиры. Пируют полководцы, дожи и просто жирные чревоугодники. Эпохи запечатлены. Веют перья, ниспадают ткани, лоснятся щеки.

Новый Тьеполо! Спеши сюда! Вот для тебя пирующие персонажи... Они сидят под яркой стосвечовой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо, пиши «Пир у хозяйственника»!

Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову, они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяжках... На вилке держит он кружок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего, и он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он?

– Сосисок у нас не умеют делать! – говорил гигант в синих подтяжках. – Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон.

Вы еврей, вы ничего не понимаете в сосисках, – вам нравится кошерное худосочное мясо... У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добыюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски.

IX

Мы собрались на аэродроме.

Я говорю: «мы»! Уж я-то был с боку припека, случайно прихваченный человечек. Никто не обращался ко мне, никого не интересовали мои впечатления. Я мог бы со спокойной совестью оставаться дома.

Должен был состояться отлет советского самолета новой конструкции. Пригласили Бабичева. Гости вышли за барьер. Бабичев главенствовал и в этом избранном обществе. Стоило ему вступить с кем-нибудь в разговор, как возле него смыкался круг. Все слушали его с почтительным вниманием. Он красовался в своем сером костюме, грандиозный, выше всех плечами, аркой плечей. На животе у него на ремнях висел черный бинокль. Слушая собеседника, он закладывал руки в карманы и тихо качался на широко расставленных ногах с пятки на носок и с носка на пятку. Он часто почесывает нос. Почесав, он смотрит на пальцы, сложенные щепоткой и близко поднесенные к глазам. Слушатели, как школьники, непроизвольно повторяют его движения и игру его лица. Они тоже почесывают нос, сами себе удивляясь.

Взбешенный, я отошел от них. Я сидел в буфете и, ласкаемый полевым ветерком, пил пиво. Я тянул пиво, наблюдая, как ветерок лепит нежные орнаменты из концов скатерти моего столика.

На аэродроме соединились многие чудеса: тут на поле цвели ромашки, очень близко, у барьера, – обыкновенные дующие желтой пылью ромашки, тут низко, по линии горизонта, катились круглые, похожие на пушечный дым облака; тут же ярчайшим суриком алели деревянные стрелы, указывающие разные направления; тут же на высоте качался, сокращаясь и раздуваясь, шелковый хобот – определитель ветра; и тут же по траве, по зеленой траве старинных битв, оленей, романтики, ползали летательные машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью.

Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно... Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убится. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью!

Грянул марш. Приехал наркомвоен. Быстро, опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась

за ним. Оркестр играл щеголевато. Наркомвоен щеголевато шагал, весь в ритме оркестра.

Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал «нельзя» и положил руку на верхнее ребро калитки.

– Как это? – спросил я.

Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события. Пилот-конструктор, в куртке румяной кожи, стоял во фронт перед наркомвоенном. Ремень туго перетягивал коренастую спину наркомвоенна. Оба держали под козырек. Все лишилось движения. Только оркестр был весь в движении. Бабичев стоял, выпятив живот.

– Пропустите меня, товарищ! – повторил я, тронув военного за рукав, и в ответ услышал:

– Я вас удалю с аэродрома.

– Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым!

Нужно было показать пригласительный билет. Я не имел его: Бабичев просто захватил меня с собой. Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых создавали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что

делали эти люди, – здесь ли, на поле, или где-либо в других местах.

– Товарищ, я же не простой гражданин, – заволновался я (лучшей фразы для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать). Что я вам? Обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда. (Рукой я махнул на группу людей, встречавших наркомвоенна.)

– Вы не оттуда, – улыбнулся военный.

– Спросите товарища Бабичева!

В рупор, сделанный из ладоней, я закричал; поднялся на носки:

– Андрей Петрович!

Как раз умолк оркестр. Подземным гулом убегал последний удар барабана.

– Товарищ Бабичев!

Он услышал. Наркомвоен повернулся тоже. Все повернулись. Пилот поднес руку к шлему, картинно защищаясь от солнца.

Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером; толстопузый, в укоротившихся брючках человек – как я посмел отвлечь их? И когда наступила тишина, когда они, еще не определив, кто зовет одного из них, застыли в выжидательных позах, – я не нашел в себе силы позвать еще раз.

Но он знал, он видел, он слышал, что это я его зову. Секунда – и все кончилось. Участники группы приняли прежние позы. Я готов был заплакать.

Тогда снова я поднялся на носки и сквозь тот же рупор, оглушая военного, послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль:

– Колбасник!

И еще раз:

– Колбасник!

И еще много раз:

– Колбасник! Колбасник! Колбасник!

Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то, во всяком случае, самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две тупо, ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось, что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой.

Х

Я покинул аэродром.

Но праздник, шумевший там, манил меня. Я остановился на зеленом валу и стоял, прислонившись к дереву, задутый пылью. Меня, как святого, окружал кустарник. Я обламывал кисловатые нежные веточки, обсасывал их. Я стоял, подняв бледное добродушное лицо, и смотрел в небо.

С аэродрома вылетела машина. Со страшным мурлыканьем она покатила над мной, желтая на солнце, косо, как вывеска, почти раздирая листву моего дерева. Выше, выше, — я следил за нею, топчась на валу: она уносилась, то вспыхивала она, то чернела. Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов: ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени...

Торжество отлета новой советской машины прошло без меня. Война объявлена. Я оскорбил Бабичева.

Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шоферы уже проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофер Альперс видит меня, делает мне знаки. Я поворачиваюсь спиной. Мои башмаки запутались в зеленой лапше травы.

Я должен поговорить с ним. Он должен понять. Я должен объяснить ему, что это он виноват, — что не я, но именно он виноват! Он выйдет не один. Мне надо поговорить с ним с

глазу на глаз. Отсюда он поедет в правление. Я его опережу.

В правлении сказали: он сейчас на стройке.

«Четвертак»? Значит, к «Четвертаку»!

Меня понесла нелегкая; какое-то слово, которое нужно было сказать ему, как будто уже вырвалось из моих губ, и я догонял его, спеша, боясь не догнать, потерять и забыть.

Постройка явилась мне желтеющим, висящим в воздухе миражем. Вот он, «Четвертак»! Она была за домами, далеко, — отдельные части лесов слились в одно; легчайшим ульем реяла она вдали...

Я приближаюсь. Грохот и пыль. Я глохну и заболеваю катарактой. Я пошел по деревянному настилу. Воробей слетел с пенька, слегка гнулись доски, смеша детскими воспоминаниями о катании на перевесах, — я шел, улыбаясь тому, как оседают опилки и как седеют в опилках плечи.

Где его искать?

Грузовик поперек пути. Он никак не может въехать. Он возится, приподнимается и спадает, как жук, влезающий с горизонтальной плоскости на отвесную.

Ходы запутаны, точно иду я в ухе.

— Товарищ Бабичев?

Указывают: туда. Где-то выбивают днища.

— Куда?

— Туда.

Иду по балке над бездной. Балансирую. Нечто вроде трюма зияет внизу.

Необъятно, черно и прохладно. Все вместе напоминает верфь. Я всем мешаю.

– Куда?

– Туда.

Он неуловим.

Он мелькнул один раз: прошло его туловище над каким-то деревянным бортом. Исчезло. И вот опять он появляется наверху, далеко, – между нами огромная пустота, все то, что вскоре будет одним из дворов здания.

Он задержался. С ним еще несколько – фуражки, фартуки. Все равно, отзову его, чтобы сказать одно слово: «простите».

Мне указали кратчайший путь на ту сторону. Осталась только лестница. Я слышу уже голоса. Осталось одолеть только несколько ступенек...

Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху.

В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру – не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу на монумент.

– Что это было?

Я покатился по лестнице.

Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке, с лязгом и воем описавшей

полукруг. Мало ли что: техническое приспособление, кран. Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространства, в квадраты, я и увидел его ноздри.

Я сел на ступеньке.

– Где он? – спросил я.

Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом.

– Это не я виноват, – сказал я. – Это он виноват.

XI

Я решил не возвращаться к нему.

Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дворях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок. Неужели снова она вступит в мою жизнь?

Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук.

Проснулись птицы. Раздались маленькие звуки: маленькие – промеж себя – голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завозились голуби.

Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса.

(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось.)

В этот день я написал Андрею Бабичеву письмо.

Я ел во Дворце труда, на Солянке, зразы «нельсон», пил пиво и писал:

«Андрей Петрович!

Вы меня пригрели. Вы пустили меня к себе под бок. Я спал на удивительном вашем диване. Вы знаете, как паршиво жил я до этого. Наступила благословенная ночь. Вы пожалели меня, подобрали пьяного.

Вы окружили меня полотняными простынями. Гладкость и холодок ткани как будто и были рассчитаны на то, чтобы смирить мою горячность, унять беспокойство.

В моей жизни даже появились костяные пуговицы пододеяльника, и в них – только найди нужную точку – плавало радужное кольцо спектра. Я сразу признал их. Они вернулись из давным-давно забытого, самого дальнего, детского уголка памяти.

Я получил постель.

Само это слово было для меня таким же поэтически отдаленным, как слово „серсо“.

Вы мне дали постель.

С высот благополучия спустили вы на меня облако постели, ореол, прильнувший ко мне волшебным жаром, окутавший воспоминаниями, негорькими сожалениями и надеждами. Я стал надеяться на то, что можно еще многое вернуть из предназначенного для моей молодости.

Вы меня благодетельствовали, Андрей Петрович!

Подумать: меня приблизил к себе прославленный чело-

век! Замечательный деятель поселил меня в своем доме. Я хочу выразить вам свои чувства.

Собственно, чувство-то всего одно: ненависть.

Я вас ненавижу, товарищ Бабичев.

Это письмо пишется, чтобы сбить вам спеси.

С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня.

Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс, – выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать.

Кто дал ему право давить меня?

Чем я хуже него?

Он умнее?

Богаче душой?

Тоньше организован?

Сильнее? Значительнее?

Больше не только по положению, но и по существу?

Почему я должен признать его превосходство?

Такие вопросы я себе поставил. Каждый день наблюдений давал мне частицу ответа. Прошел месяц. Ответ я знаю. И уже не боюсь вас. Вы просто тупой сановник. И больше ничего. Не значимостью личности подавили вы меня. О нет! Теперь я уже явственно понимаю вас, рассматриваю, посадив на ладонь. Мой страх перед вами прошел, как некое ребячество. Я свалил вас с себя. Вы – липа.

Одно время меня мучили сомнения. „Быть может, я ничтожество перед ним? – подумал я. – Быть может, он мне, честолюбцу, и впрямь являет пример большого человека?“

Но, оказалось, вы просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И, как все сановники, вы самодур. Только самодурством можно объяснить ураган, поднятый вами вокруг куска посредственной колбасы, или то, что вы привезли с улицы к себе неизвестного молодого человека. И, может быть, из того же самодурства приблизили вы к себе Володю Макарова, о котором я знаю только одно, что он футболист. Вы – барин. Вам нужны шуты и нахлебники. Не сомневаюсь, что тот Володя Макаров сбежал от вас, не вытерпев издевательств. Как и меня, вы, должно быть, систематически превращали его в дурака.

Вы заявили, что живет он при вас, как сын, что он спас вам жизнь, вы размечтались даже, вспомнив о нем. Я помню. Но это все ложь. Вам неловко признать в себе барские наклонности. Но я видел родинку у вас на пояснице.

Сперва, когда вы сказали, что диван принадлежит тому и что по возвращении того мне придется выкинуться к чертовой матери, – я оскорбился. Но понял через минуту, что и к нему и ко мне вы холодны и безразличны. Вы – барин, мы – приживальщики.

Но, смею вас уверить, ни он, ни я – мы не возвратимся к вам более. Вы не уважаете людей. Он вернется лишь в том

случае, если он глупее меня.

Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек.

Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы – хороший? Значит ли это, что я – ничто, а вы – большое нечто?

Вы меня нашли на улице...

Как тупо вы повели себя!

„На улице, – решили вы, – ну ладно, серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик, ладно“. Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы – сановник, товарищ Бабичев!

Кем я показался вам? Погибающим люмпен-пролетарием? Вы решили меня поддержать? Спасибо вам. Я силен – слышите ли вы? – я силен настолько, чтобы погибать и подниматься и снова погибать.

Мне интересно, как поступите вы, прочитав мое письмо. Быть может, вы постараетесь, чтобы меня выслали, или, быть может, посадите в сумасшедший дом? Вы все можете, вы – большой человек, член правительства. Вы же сказали о своем брате, что его надо расстрелять. Вы же сказали: посадим на Канатчикову.

Ваш брат, производящий необычайное впечатление, загадочен для меня, непонятен. Тут тайна, тут ничего я не знаю.

Имя „Офелия“ странно волнует меня. А вы, мне кажется, боитесь этого имени.

Кое-какие догадки я строю все же. Я предвижу кое-что. Я помешаю вам. Да, я почти уверен, что это так. Но я не позволю вам. Вы хотите завладеть дочкою вашего брата. Один раз только я видел ее. Да, это я сказал ей о ветви, полной цветов и листьев. У вас нет воображения. Вы высмеяли меня. Я слышал телефонный разговор. Вы так же очернили меня в глазах девушки, как очернили его, отца. Вам невыгодно допустить, чтобы девушка, которую вы хотите покорить, сделать душой при себе, как нас пытались сделать дураками, – чтобы девушка эта имела душу нежную, взволнованную. Вы хотите использовать ее, как используете (нарочно применяю это ваше слово) „головы и бараньи ножки при помощи остроумно применяемых электрических спиральных сверл“ (из вашей брошюры).

Но нет, я не позволю вам. Еще бы: какой лакомый кусочек! Вы обжора и чревоугодник. Разве вы остановитесь перед чем-нибудь ради физиологии своей? Что помешает вам развратить девушку? То, что она племянница ваша? Вы же смеетесь над семьей, над родом. Вам хочется приручить ее.

И потому с таким бешенством вы громите вашего брата. А каждый скажет, едва взглянув на него: это замечательный человек. Я думаю, еще не зная его: он гениален, в чем – не знаю... Вы травите его. Я слышал, как стучали вы кулаком по перилам. Вы заставили дочку покинуть отца.

Но меня вы не затравите.

Я становлюсь на защиту брата вашего и его дочки. Послушайте, вы, тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев, послушайте, – да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее. А какие же слова готовите вы для нее? Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонятное – либо смешно, либо страшно. Сейчас вы смеетесь, но я заставлю вас вскоре ужасаться. Не думайте, не только образно, – вполне реально я умею мыслить. Что же! О ней, о Вале, я могу сказать и обычными словами, – и вот, пожалуйста, я вам приведу сейчас ряд понятных для вас определений, умышленно, чтобы разжечь вас, чтобы раздражить тем, чего вы не получите, уважаемый колбасник!

Да, она стояла передо мной, – да, сперва по-своему скажу: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней – тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо: по цвету – от загара, и по форме – скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены...

А теперь – по-вашему. Описание той, которой вы хотите полакомиться. Передо мной стояла девушка лет шестна-

дцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами – очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом.

Вы не получите ее.

Она будет моей женой. О ней я мечтал всю жизнь.

Повоюем! Сразимся! Вы старше меня на тринадцать лет. Они сзади вас и впереди меня. Еще одно-другое достижение в колбасном деле, еще одна-другая удешевленная столовая – вот пределы вашей деятельности.

О, мне другое снится!

Не вы – я получу Валю. Мы прогремим в Европе – там, где любят славу.

Я получу Валю – как приз, – за все: за унижения, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь.

Я рассказывал вам о стряпухе. Помните: о том, как она моется в коридоре. Так вот, я увижу другое: комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды...

Ради того, чтобы исполнилась эта мечта, я сделаю все! Вы не используете Валю.

До свиданья, товарищ Бабичев!

Как мог я целый месяц играть такую унижительную роль? Я к вам не вернусь больше. Ждите: быть может, вернется

первый дурак ваш. Кланяйтесь ему от меня. Какое счастье, что больше я не вернусь к вам!

Всякий раз, когда мое самолюбие отчего-либо будет страдать, то знаю, что тотчас же, по ассоциации идей, вспомнится мне какой-нибудь из вечеров, проведенных вблизи вашего письменного стола. Какие тягостные видения!

Вечер. Вы за столом. Самоупоеание излучается из вас. „Я работаю, – трещат эти лучи, – слышишь ли ты, Кавалеров, я работаю, не мешай... тсс... обыватель“.

А утром из разных уст несется хвала:

– Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность – Андрей Петрович Бабичев!

Но вот в то время как подхалимы пели вам гимны, в то время как самодовольство пыжило вас, – жил рядом с вами человек, с которым никто не считался и у которого никто не спрашивал мнения; жил человек, следивший за каждым вашим движением, изучавший вас, наблюдавший вас – не снизу, не раболепно, а по-человечески, спокойно, – и пришедший к заключению, что вы высокопоставленный чиновник – и только, заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям.

Дурака валять нечего.

Вот все, что я хотел вам высказать.

Шута вы хотели сделать из меня, – я стал вашим врагом. „Против кого ты воюешь, негодяй?“ – крикнули вы вашему брату. Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию ва-

шу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки, — не знаю. А я воюю против вас: против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет ему благополучно. Я воюю за брата вашего, за девушку, которая обманута вами, за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя Офелия, за все, что подавляете вы, замечательный человек. Кланяйтесь Соломону Шапиро...»

XII

Меня впустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с печеньем, похожим на еврейские буквы.

Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в два часа дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности.

Я вышел на балкон.

На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимой с балкона церкви. Эта церковь славится звоном. Зеваки задирали головы. Им была видна работа знаменитого звонаря.

Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. Двадцать колоколов раздирали его. Как ямщик, он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в срединной точке, в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины, — таинственный музыкант, неразличимый, чер-

ный, может быть, безобразный, как Квазимодо.

(Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так: мужичок распоряжается посудой, тарелочками. А звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона.)

Я слушал с балкона.

– Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли!

Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе.

Том Вирлирли,

Том с котомкой,

Том Вирлирли молодой!

Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том – удар большого колокола, большого котла. Вирлирли – мелкие тарелочки.

Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома.

Юноша, озирающий город. Никому не известный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Вирлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний.

Котомка за спиной юноши.

Он делает все.

Он – это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний.

Пройдут дни – и скоро (не много раз перескочит солнечный зайчик с косяка в другую комнату) мальчики, сами мечтающие о том, чтоб так же, с котомкой за спиной, пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать:

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой!

Так в романтическую, явно западноевропейского характера, грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки.

Я оставляю письмо на столе, собираю пожитки (в котомку?) и уйду. Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластину, по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью.

В дверь постучали. Он?

Я открыл.

В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающийся (японской улыбкой), точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валу, стоял Том Вирлирли.

Это был чернявый юноша, Володя Макаров. Он посмотрел на меня с удивлением, затем обвел глазами комнату. Несколько раз взгляд его возвращался к дивану, вниз, под диван, где виднелись мои полуботинки.

– Здорово! – приветствовал я его.

Он пошел к дивану, сел, посидел, затем направился в спальню, побывал там, вернулся и, остановившись у вазы-фламинго, спросил меня:

– Где Андрей Петрович? В правлении?

– Не ручаюсь. Андрей Петрович вернется вечером. Возможно, что он привезет с собой нового дурака. Вы первый, я второй, он будет третий. Или до вас уже были дураки? А возможно, что он привезет с собой девочку.

– Кого? – спросил Том Вирлирли. – Как? – спросил он, морщась от непонимания. Приподнялись его виски.

Он сел снова на диван. Полуботинки под диваном беспокоили его. Видно было: он не прочь потрогать их задником своего сапога.

– Зачем вы вернулись? – спросил я. – Какого черта вы вернулись? Наша роль с вами окончена. Сейчас он занят другим. Он развращает девочку. Племянницу свою, Валю. Поняли? Уходите отсюда. Слушайте!

(Я бросился к нему. Он недвижно сидел.)

– Слушайте! Сделайте так, как сделал я! Скажите ему всю правду... Вот (я схватил со стола письмо), вот письмо, которое я ему написал...

Он отстранил меня. Котомка привычно легла в уголок около дивана. Он пошел к телефону и вызвал правление. Так и остались мои пожитки несобранными. Я обратился в бегство.

XIII

Письмо осталось при мне. Я решил его уничтожить. Футболист живет при нем, как сын. По тому, как котомка устроилась в углу, по тому, как оглядывал он комнату, как снимал телефонную трубку, как назвал номер, видно было: он давний, он свой человек в доме, – это дом его. Дурно проведенная ночь повлияла на меня. Я писал не то, что хотел написать. Бабичев не понял бы негодования моего. Он объяснил бы его завистью. Он подумал бы: я завидую Володе.

Хорошо, что письмо осталось при мне.

Иначе получился бы холостой выстрел.

Я ошибся, думая, что Володя – дурак при нем и развлекатель. Следовательно, в письме своем я не должен был брать его под защиту. Напротив. Теперь, встретившись с ним, я увидел высокомерие его. Бабичев растит и холит себе подобного. Вырастет такой же надутый, слепой человек.

Его взгляд говорил: «Извините, вы ошиблись. Прижи-вальщик – это вы. А я – полноправный. Я – барчук».

Я сидел на скамье. И тут обнаружилось ужасное.

Квадратик оказался не тем, – мой был побольше; это не мое письмо. Мое осталось там. Впопыхах я схватил другое письмо. Вот оно:

«Дорогой, милый Андрей Петрович! Здравствуй, здравствуй! В добром ли ты здравии? Не задушил ли тебя твой

новый жилец? Не натравил ли на тебя Иван Петрович „Офелию“? Смотри: споются они оба – Кавалеров твой да Иван Петрович – и изведут тебя. Смотри берегись. А то ты слабенький, обидеть тебя легко, смотри ты...

С чего ты такой доверчивый стал? Всякую шпану в дом пускаешь. Гони его к черту! На другой же день сказал бы: „Ну, отоспались, молодой человек, и до свиданья!“ Подумаешь: нежности! Я как прочел письмо твое, что, мол, вспомнил ты обо мне и пожалел пьяницу под стеночкой, поднял да повез ради меня, потому-де, что и со мной где-нибудь несчастье может случиться и буду я так же лежать, – как прочел я это – стало мне смешно и непонятно. Словно не ты это, а Иван Петрович.

Как я предполагал, так и вышло: привез ты этого хитрованца к себе, а потом и растерялся, конечно, – сам не знаешь, что делать с ним. И попросить убратся неловко, и что делать – черт его знает! Верно? Видишь: я тебе мораль читаю. Это у тебя работа такая, настраивает на чувствительность: фрукты, травки, пчелки, телята и всякое такое. А я человек индустриальный. Смейся, смейся, Андрей Петрович! Ты всегда надо мной смеешься. Я, понимаешь ли, уже новое поколение.

Как же теперь будет? Ну, вернусь я, – как с чудаком твоим будет? А вдруг расплачется твой чудака, не захочет с дивана уходить? А ты и пожалеешь его. Да, я ревную. Выгоню его, морду набью. Это ты добрый такой, только кричишь, кула-

ком стучишь, хорохоришься, а дойдет до дела, ты сейчас – жалеть. Если бы не я, то Валька до сих пор бы мучилась у Ивана Петровича. Как ты там удерживаешь ее? Не вернулась она обратно? Ты же сам знаешь: Иван Петрович хитрый человек, прикидывается, сам же о себе говорит, что дешевка он и шарлатан. Верно? Так и не жалея его.

Вот попробуй устрой его в диспансер. Сбежит. Или Кавалерову твоему в диспансер предложи? Обидится.

Ну, ладно. Ты не сердись. Да ведь твои слова были: „Учи меня, Володя, и я учить тебя буду“. Вот и учимся.

Скоро приеду. На днях. Папаша кланяется тебе. Прощай Муром-городок! Ночью, когда иду, тогда понимаю, что, собственно говоря, и города никакого не существует. Одни мастерские есть, а городок – это что! Так просто, отложение мастерских. Все для них, ради них. Над всеми мастерские. Ночью в городе тьма египетская, мрак, понимаешь ли, домовые. А в сторонке, в поле, огнями горят мастерские, сияют, – праздник!

А в городе (видел я) теленок бежал за участковым надзирателем, за портфелем (тот под мышкой держал). Бежит, шлепает губами, пожевать, что ли, хотел... Такая картина: изгородь, лужица, надзиратель шагает в красной шапке, честь честью, а теленок прицеливается к портфелю. Противоречия, понимаешь ли.

Не люблю я этих самых телят. Я – человек-машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не пре-

вратился, то хочу превратиться. Машины здесь – зверье! Породистые! Замечательно равнодушные, гордые машины. Не то что в твоих колбасных. Кустарничаете. Вам только телят резать. Я хочу быть машиной. С тобой хочу посоветоваться. Хочу стать гордым от работы, гордым – потому что работаю. Чтоб быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа! Зависть взяла к машине – вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас. Даешь ей ход – пошла! Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрович, – чтоб ни цифирки лишней. Как хочется с тобой поговорить!

Подражаю тебе во всем. Чавкаю даже, как ты, в подражание.

Сколько раз думаю о том, что вот-де, как повезло мне! Поднял ты меня, Андрей Петрович! Не все комсомольцы так живут. А я живу при тебе, при мудрейшей, удивительной личности. Каждый дорого даст за такую жизнь. Я ведь знаю: многие мне завидуют. Спасибо тебе, Андрей Петрович! Ты не смейся – в любви, мол, объясняюсь. Машина, скажешь, а в любви объясняется. Верно? Нет, правду говорю: буду машиной.

Как дела? „Четвертак“ строится? Не обвалилось ничего? Как с „Теплом и силой“? Уладил? А Кампфер?

А дома что? Значит, на диванчике-то на моем неизвестный гражданин спит? Вшей напустит. Помнишь, как прита-

щили меня с футбола? До сих пор отзывается. Помнишь, привезли меня? А ты испугался, Андрей Петрович? Правда ведь испугался? Ты ж у меня слюняй! Я лежал на диване; нога тяжелая, как рельса. Сам на тебя смотрю, – ты за столом, за колпаком зеленым, пишешь. Смотрю на тебя, – вдруг и ты на меня; я сразу закрываю глаза, – как с мамой!

О футболе кстати. Буду играть против немцев в московской сборной. И, может быть, если не Шухов, – в сборной СССР. Красота!

Что Валька? Конечно, поженимся! Через четыре года. Ты смеешься, говоришь – не выдержим. А я вот заявляю тебе: через четыре года. Да. Я буду Эдисоном нового века. Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой „Четвертак“. Да. Ты не веришь? У нас с ней союз. Ты ничего не знаешь. В день открытия „Четвертака“ мы на трибуне под музыку поцелуемся.

Ты не забывай меня, Андрей Петрович. А вдруг я приеду и окажется такое: твой Кавалеров – первый тебе друг, обо мне забыто, он тебе заменил меня. Гимнастику с тобой вместе делает, на постройку ездит. Мало ли что? А может, он парень оказался замечательный, гораздо приятней, чем я, – может, ты с ним подружился, и я, Эдисон нового века, должен буду убраться к чертовой матери? Может, сидишь ты с ним, да с Иваном Петровичем, да с Валькой – и смеетесь надо мной? А Кавалеров твой на Вальке женился? Скажи правду. Тогда я убью тебя, Андрей Петрович. Честное слово. За

измену нашим разговорам, планам. Понял?

Ну, расписался, занятому человеку мешаю. Чтобы цифры лишней не было, – а самого-то разнесло. Это потому, что в разлуке, – правда? Ну, до свидания, дорогой и многоуважаемый, до свидания, скоро увидимся».

XIV

Огромное облако с очертаниями Южной Америки стояло над городом. Оно блистало, но тень от него была грозной. Тень астрономически-медленно надвигалась на бабичевскую улицу.

Все, которые вступили уже в устье той улицы и шли против течения, видели движения тени, у них темнело в глазах, она отнимала у них почву из-под ног. Они шли как бы по вращающемуся шару.

Я пробивался вместе с ними.

Висел балкон. На перилах – куртка. Уже не звонили в церкви. Я заменил зевак на углу. Юноша появился на балконе. Его удивила наступившая пасмурность. Он поднял голову, выглянул, перевалившись через перила.

Лестница, дверь. Стучу. От боя сердца дергается лацкан. Я пришел драться.

Меня впускают. Открывший мне дверь отступает, беря дверь на себя. И первое, что я вижу, – Андрей Бабичев. Андрей Бабичев стоит посредине комнаты, расставив ноги, под которыми должна пройти армия лилипутов. Руки его засунуты в карманы брюк. Пиджак расстегнут и отобран назад. Полы по обеим сторонам позади, оттого что руки в карманах, образуют фестоны. Поза его говорит:

«Нну-с?»

Я вижу только его. Володю Макарова я только слышу.

Я шагаю на Бабичева. Идет дождь.

Сейчас я упаду перед ним на колени.

«Не прогоняйте меня! Андрей Петрович, не прогоняйте меня! Я понял все. Верьте мне, как верите Володе! Верьте мне: я тоже молодой, я тоже буду Эдисоном нового века, я тоже буду молиться на вас! Как я мог прозевать, как мог я остаться слепым, не сделать всего, чтобы вы полюбили меня! Простите меня, пустите, дайте сроку мне четыре года...»

Но, не падая на колени, я спрашиваю ехидно:

– Отчего ж это вы не на службе?

– Убирайтесь отсюда вон! – слышу я в ответ.

Он ответил тотчас же, точно мы сыгрались. Но реплика дошла до сознания моего спустя некоторый промежуток времени.

Произошло нечто необычайное.

Шел дождь. Возможно, была молния.

Я не хочу говорить образно. Я хочу говорить просто. Я читал некогда «Атмосферу» Камилла Фламариона. (Какое планетное имя! Фламарион – это сама звезда!) Он описывает шаровидную молнию, ее удивительный эффект: полный, гладкий шар бесшумно вкатывается в помещение, наполняя его ослепительным светом... о, я далек от намерения прибегать к пошлым сравнениям. Но облако было подозрительно. Но тень надвигалась, как во сне. Но шел дождь. В спальне было открыто окно. Нельзя в грозу оставлять окна открыты-

ми! Сквозняк!

С дождем, с каплями горькими, как слезы, с порывами ветра, под которыми ваза-фламинго бежит, как пламя, воспламеняя занавески, которые также бегут под потолок, появляется из спальни Валя.

Но только меня ошеломляет это явление. На самом же деле все просто: приехал друг, и друзья поспешили с ним увидеться.

Возможно, Бабичев заехал за Вале́й, мечтавшей, возможно, об этом дне. Все просто. А меня надо отправить в диспансер, лечить гипнозом, чтоб не мыслил образами и не приписывал девушке эффектов шаровидной молнии.

Так я же испорчу вам простоту!

– Убирайтесь отсюда вон! – повторяет слух.

– Не так все просто... – начинаю я.

Сквозит. Дверь осталась открытой. От ветра выросло у меня одно крыло. Оно бешено вертится над плечом, придувая веки. Сквозняком анестезирована половина моего лица.

– Не так все просто, – говорю я, прижавшись к косяку, чтобы сломать ужасное крыло. – Вы уезжали, Володя, а в это время товарищ Бабичев жил с Вале́й. Пока там четыре года вы будете ждать, Андрей Петрович успеет побаловаться Вале́й в достаточной степени...

Я оказался за дверью. Половина лица была анестезирована. Может быть, я не почувствовал удара.

Замок щелкнул надо мной так, точно обломилась ветка, и

я свалился с прекрасного дерева, как перезревший, ленивый, шмякающий при падении плод.

– Все кончено, – спокойно сказал я, поднимаясь. – Теперь я убью вас, товарищ Бабичев.

XV

Идет дождь.

Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на бульвары направо и, достигнув вершины Петровского, внезапно слепнет и теряет уверенность.

Я пересекаю «Трубу», размышляя о сказочном фехтовальщике, который прошел под дождем, отбивая рапирой капли. Рапира сверкала, развевались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался, как флейта, – и остался сух. Он получил отцовское наследство. Я промок до ребер и, кажется, получил пощечину.

Я нахожу, что ландшафт, наблюдаемый сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются. Вещь, оставаясь знакомой вещью, вдруг делается до смешного малой, непривычной. Это вызывает в наблюдателе детские представления. Точно видишь сон. Заметьте, человек, повернувший бинокль на удаление, начинает просветленно улыбаться.

После дождя город приобрел блеск и стереоскопичность. Все видели: трамвай крашен кармином; булыжники мостовой далеко не одноцветны, среди них есть даже зеленые; мальяр на высоте вышел из ниши, где прятался от дождя, как голубь, и пошел по канве кирпичей; мальчик в окне ловит

солнце на осколок зеркала...

Я купил у бабы яйцо и французскую булку. Я стукнул яйцом о трамвайную мачту на глазах у пассажиров, летевших от Петровских ворот.

Я направился вверх. Скамьи проходили на высоте моих колен. Здесь аллея несколько выпукла. Прекрасные матери сидели на скамьях, подложив платочки. На покрытых загаром лицах светились глаза – светом рыбьей чешуи. Загар покрывал также и шеи и плечи. Но молодые большие груди, видные в блузах, белели. Одиноким и загнанным, с тоской пил я эту белизну, чье имя было – молоко, материнство, супружество, гордость и чистота.

Нянька держала младенца, похожего по облачению на папу римского.

У девчонки в красной повязке повисло на губе семечко. Девчонка слушала оркестр, не заметив, как влезла в лужу. Раструбы басов смахивали на слоновьи уши.

Для всех: для матерей, для нянек, для девушек, для музыкантов, опутанных трубами, я был – комик. Трубачи косили на меня глазом, еще более раздувая щеки. Девчонка фыркнула, отчего семечко наконец упало. Тут же она обнаружила лужу. Собственную неудачливость поставила она в вину мне и со злобой отвернулась.

Я докажу, что я не комик. Никто не понимает меня. Непонятное кажется смешным или страшным. Всем станет страшно.

Я подошел к уличному зеркалу.

Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен – обычный городской путь, не сулящий вам ни чудес, ни видений. Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг, на миг, вам становится ясно: с миром, с правилами мира произошли небывалые перемены.

Нарушена оптика, геометрия, нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли. Вы начинаете думать, что видите затылком, – вы даже растерянно улыбаетесь проходим, вы смущены таким своим преимуществом.

– Ах... – тихо вздыхаете вы.

Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту. Соломенная шляпа, повисшая на голубой ленте через чью-то руку (вы сию минуту видели ее, она привлекала ваше внимание, но вы не удосужились оглянуться), возвращается к вам, проплывает поперек глаз.

Перед вами открывается даль. Все уверены: это дом, стена, но вам дано преимущество: это не дом! Вы обнаружили тайну: здесь не стена, здесь таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами, – и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля.

Вы, как говорится, заходите. Так внезапно нарушение

правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению... Догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату. Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно – частица, сохранившаяся от правильного мира, в то время как все рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, где лицо ваше – точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо.

Вы никак не скажете наверняка (пока не отвернетесь от зеркала), в какую сторону направляется пешеход, наблюдаемый вами в зеркале... Лишь повернувшись...

Я смотрел в зеркало, дожевывая булку.

Я отвернулся.

Пешеход шел к зеркалу, появившись откуда-то сбоку. Я помешал ему отразиться. Улыбка, приготовленная им для самого себя, прилась мне. Он был ниже меня на голову и поднял лицо.

Спешил он к зеркалу, чтобы найти и скинуть гусеницу, свалившуюся на далекую часть его плеча. Он и скинул ее щелчком, вывернув плечо, как скрипач.

Я продолжал думать про оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, еще не узнав его:

– С какой стороны вы подошли? Откуда вы взялись?

– Откуда? – ответил он. – Откуда я взялся? (Он посмотрел на меня ясными глазами.) Я сам себя выдумал.

Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди. И, как у бывшего человека, мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки. Он сосал конфетку.

Немедленно я осознал: вот мой друг, и учитель, и утешитель.

Я схватил его за руку и, едва не припав к нему, заговорил:

– Скажите мне, ответьте мне!..

Он поднял брови.

– Что это... Офелия?

Он собирался ответить. Но сквозь уголок губ сладким соком прорвался флюс леденца. Чувствуя восторг и умиление, я ждал ответа.

I

Приближение старости не пугало Ивана Бабичева.

Иногда, впрочем, из уст его раздавались жалобы по поводу быстро текущей жизни, утраченных лет, предполагаемого рака желудка... Но жалобы эти были слишком светлы, по всей вероятности, даже мало искренни – риторического характера жалобы.

Случалось, прикладывал он ладонь к левой стороне груди, улыбался и спрашивал:

– Интересно, какой звук бывает при разрыве сердца?

Однажды поднял он руку, показывая друзьям внешнюю сторону ладони, где вены расположились в форме дерева, и разразился следующей импровизацией.

– Вот, – молвил он, – дерево жизни. Вот дерево, которое мне говорит о жизни и смерти более, нежели цветущие и увядающие деревья садов. Не помню, когда именно обнаружил я, что кисть моя цветет деревом... Но, должно быть, в прекрасную пору, когда еще цветение и увядание деревьев говорило мне не о жизни и смерти, но о конце и начале учебного года! Оно голубело тогда, это дерево, оно было голубое и стройное, и кровь, о которой тогда думалось, что не жидкость она, а свет, зарею всходила над ним и всему пейзажу пясти придавала сходство с японской акварелью...

Шли годы, менялся я, и менялось дерево.

Помню превосходную пору, – оно разрослось. Минуты гордости испытывал я, видя его неодолимое цветение. Оно стало корявым и бурым, – и в том таилась мощь! Я мог назвать его могучей снастью руки. А ныне, друзья мои! Как дряхло оно, как трухляво!

Мне кажется, ломаются ветки, появились дупла... Это склероз, друзья мои! И то, что кожа стекленеет, а под ней водянистой становится ткань, – не есть ли это оседание тумана на дерево моей жизни, того тумана, который вскоре окутает всего меня?

Бабичевых было три брата. Иван был второй. Старшего звали Романом. Он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте.

Младший брат – Андрей – жил в эмиграции. «Как тебе нравится, Андрей? – написал ему Иван в Париж. – У нас в роду мученик! Вот бы обрадовалась бабушка!» На что брат Андрей, со свойственной ему грубостью, ответил коротко: «Ты просто мерзавец». Так определились разногласия между братьями.

С детства Иван удивлял семью и знакомых.

Двенадцатилетним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого – по заказу – любой сон.

– Хорошо, – сказал отец, директор гимназии и латинист. – Я верю тебе. Я хочу видеть сон из римской истории.

– Что именно? – деловито спросил мальчик.

– Все равно. Битву при Фарсале. Но если не выйдет, я тебя высеку.

Поздно вечером по комнатам носился, мелькал чудный звон. Директор гимназии лежал в кабинете, ровный и прямой от злости, как в гробу. Мать реяла у желчно закрытых дверей. Маленький Ваня, добродушно улыбаясь, похаживал вдоль дивана, потрясая своим абажуром, как потрясает канатоходец китайским зонтом. Утром отец в три прыжка, не одетый, из кабинета пронесся в детскую и вынул толстого, доброго, сонного, ленивого Ваню из постели. Еще день был слаб, еще, может быть, кое-что и вышло бы, но директор разодрал занавески, фальшиво приветствуя наступление утра. Мать хотела помешать порке, мать подкладывала руки, кричала:

– Не бей его, Петенька, не бей... Он ошибся... Честное слово... Ну что ж, что тебе не приснилось?.. Звон отнесся в другую сторону. Знаешь, какая квартира у нас... сырая. Я, я видела битву при Фарсале! Мне приснилась битва, Петенька!

– Не лги, – сказал директор. – Расскажи подробности. Чем отличалось обмундирование балеарских стрелков от обмундирования нумидийских прашников?.. Нуте-с?

Он подождал минуту, мать зарыдала, и маленький экспериментатор был выпорот. Он вел себя, как Галилей. Вечером того же дня горничная сообщила хозяйке, что не пойдет за сделавшего ей предложение некоего Добродеева.

– Он врет все, нельзя ему верить, – так объяснила горничная. – Всю ночь я лошадей видела. Все скачут, все страшные лошади, вроде как в масках. А лошадь видеть – ложь.

Потеряв власть над нижней челюстью, мать – лунатиком – пошла к дверям кабинета. Кухарка остолбенела у печки, чувствуя, что тоже теряет власть над нижней челюстью.

Жена коснулась мужниного плеча. Он сидел за столом, прикрепляя к портсигару отпавшую монограмму.

И мать пролепетала:

– Петруша, расспроси Фросю... Кажется, Фросе приснилась битва при Фарсале...

Неизвестно, как отнесся директор к сновидению горничной. Что касается Ивана, то известно, что спустя месяц или два после истории с искусственными снами он уже рассказывал о новом своем изобретении.

Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно размеров елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы и дальше, дальше, вплоть до объема аэростата, – и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем.

Отец был в кухне. (Он принадлежал к мрачной породе отцов, гордящихся знанием кое-каких кулинарных секретов и считающих исключительной своей привилегией, скажем, определение количества лаврового листа, необходимого для

какого-нибудь прославленного по наследству супа, или, скажем, наблюдение за сроком пребывания в кастрюле яиц, которым положено достигнуть идеального состояния, — так называемых яиц в мешочке.)

За кухонным окном, во дворике, под самой стеной, маленький Иван предавался мечтаниям. Желтым ухом слушал отец и выглянул. Мальчики окружили Ивана. И врал Иван о мыльном пузыре. Он будет большой, как воздушный шар.

Снова в директоре разыгралась желчь. Старший сын Роман год тому назад ушел из семьи. Отец отводил душу на младших.

Бог обидел его сыновьями.

Он отпрянул от окна, даже улыбаясь от злобы. За обедом ждал он высказываний Ивана, но Иван не подал голоса. «Он, кажется, презирает меня. Он, кажется, считает меня дураком», — кипел директор. И в исходе дня, когда отец Бабичева пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поля зрения появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии.

Директор шмыгнул в комнату и тотчас же, сквозь пролет дверей, увидел в соседней комнате Ивана на подоконнике. Гимназист, весь устремившись в окно, громко бил в ладоши.

— Я получил в тот день полное удовлетворение, — вспоминал Иван Петрович. — Отец был напуган. Долго затем искал

его взгляда, но он прятал глаза. И мне стало жалко его. Он почернел, — я думал, что он умрет. И великодушно я сбросил мантию. Он сухой был человек, мой папа, мелочный, но невнимательный. Он не знал, что в тот день над городом пролетел аэронавт Эрнест Витолло. Прекрасные афиши извещали об этом. Я сознался в невольном мошенничестве. Надо вам сказать, что опыты мои над мыльными пузырями не привели к тем результатам, о которых я мечтал.

(Факты говорят о том, что в те времена, когда Иван Баби́чев был двенадцатилетним гимназистом, воздухоплавание не достигло еще широкого развития, и вряд ли над провинциальным городом устраивались в те времена полеты.

Но если это и выдумка — то что же! Выдумка — это возлюбленная разума.)

Друзья с наслаждением внимали импровизации Ивана Баби́чева.

— И мне кажется, что ночью, после того огорчительного дня, папа мой видел во сне фарсальскую битву. Он не ушел утром в гимназию. Мама понесла ему в кабинет боржом. По всей вероятности, его потрясли подробности битвы. Быть может, он не мог примириться с тем издевательством над историей, которым побаловалось сновидение... Возможно, приснилось ему, что исход битвы решили балеарские пращники, прилетевшие на воздушных шарах...

Такой концовкой заключил Иван Баби́чев новеллу о мыльных пузырях.

В другой раз поделился он с друзьями таким случаем из эпохи своего отрочества:

– Студент, по фамилии Шемиот, ухаживал за барышней... а вот хуже – барышниной фамилии не помню... Позвольте... позвольте... скажем, Лиля Капитанаки звали барышню, по-козьи стучавшую каблуками. Нам, мальчишкам, все было известно, что происходило во дворе. Студент маялся под Лилиным балконом, готовый и боящийся вызвать из золотистых недр балконной двери эту девушку, которой, должно быть, исполнилось лет шестнадцать и которая казалась нам, мальчикам, старухой.

Синела студентова фуражка, алели студентовы щеки. На велосипеде приезжал студент. И неопишуемой была студентова тоска, когда в воскресенье, в мае, в одно из тех воскресений, коих не больше десятка числится на памяти метеорологической науки, в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку, пеструю и цветастую, как чехол на кресле в местечковой гостиной, – всю в крендельках, рогульках и оборочках и с прической, смахивающей на улитку. И тетка явно обрадовалась явлению студента Шемиота, – она с высоты раскрыла, можно сказать, студенту объятия и возвестила картофельным голосом, таким смоченным слюной и полным языка голосом, точно говорила, пережевывая горячее:

«А Лилечка уезжает в Херсон. Сегодня уезжает. В семь сорок. Надолго уезжает. На все лето уезжает. Велела передать вам привет, Сергей Сергеевич! Привет!»

Но студент чутьем влюбленного понял все. Он знал, что в золотистой глубине комнаты рыдала Лилечка и что Лилечка рвется к балкону и видит, не видя, студента, чей китель, будучи белым, впитал в себя, по законам физики, наибольшее количество лучей и блистает ослепительной альпийской белизной, – но вырваться нельзя, но тетка всесильна...

«Подарите мне велосипед, и я отомщу за вас, – сказал я студенту. – Я знаю, Лилька не хотела никуда ехать. Ее выпроваживают со скандалом. Подарите велосипед».

«Как же ты отомстишь?» – спросил студент, пугаясь меня. И через несколько дней я с невинным видом принес Лилиной тетке, будто от моей мамы, средство от бородавок. У тетки возле нижней губы, в извилине, была большая бородавка. Стареющая эта дама расцеловала меня, причем поцелуи ее произвели на меня такое впечатление, как если бы в меня в упор стреляли из новой рогатки... Друзья мои, студент был отомщен. Из теткиной бородавки вырос цветок, скромный полевой колокольчик. Он нежно подрагивал от теткинogo дыхания. Позор упал на ее голову. С воздетыми к небесам руками пронеслась тетка по двору, ввергая всех в панику...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.